

Николай Добролюбов

# От дождя да в воду



Николай Александрович Добролюбов

## От дождя да в воду

Статья является ответом на нападки либеральной печати на Добролюбова по поводу статьи «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (см. наст. т.) и служит как бы ее продолжением. В статье «Всероссийские иллюзии...» Добролюбов подверг резкой критике составленные Н. И. Пироговым «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа» (1859), которыми знаменитый хирург, служивший в то время попечителем Киевского учебного округа, закрепил существовавшие школьные порядки, в том числе телесное наказание, против которого сам высказывался в печати.

# Содержание

#1 .....	0005
Примечания .....	0067

**Николай Александрович  
Добролюбов  
От дождя да в воду**

*Впредь утро похвалю, как вечер уж наступит.*

*И. Дмитриев{1}*

По случаю прощанья Киевского учебного округа с Н. И. Пироговым, 4 апреля нынешнего года{2}, русская журналистика сочла нужным вспомнить и меня с моею статьею: «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», напечатанною в первой книжке «Современника» прошлого года. Очищая прощальную дорогу знаменитому хирургу и педагогу, нашли, что минута триумфального удаления его будет очень удобна для того, чтобы бросить несколько комков грязи в темного журналиста, осмелившегося когда-то жестко отозваться об одном из распоряжений г. Пирогова[1].

Долгое время не бывши в Петербурге{3}, я только на днях мог прочитать некоторые из статей, написанных против меня по поводу киевских «Правил о проступках и наказаниях». Не ради этих статей, слишком легких и бездоказательных, и не ради самого г. Пирогова, наверное, лучше других понявшего сущность моих возражений, – но ради самого дела, которое теперь, по удалении г. Пирогова, остается в большей опасности, чем как было при нем, – я решаюсь снова поднять старый

вопрос, пользуясь для своих объяснений полемическими статьями против меня.

Я не знаю, должен ли оправдываться против обвинений, будто я написал свою статью с намерением унижить и оскорбить г. Пирогова. Может быть, и надо бы: ведь редко кто захочет проверить обвинения и для этого перечитать статью, напечатанную полтора года тому назад, – в этом положение мое перед обвинителями очень невыгодно. Притом же «Современник» вообще известен тем, что находит ехидное наслаждение в попирании всяких заслуг, в опозорении всего священного и возвышенного, в «облаянии» всякой благородной личности!» Об этом так часто и так усердно кричали, что робких людей, может быть, и уверили... Поэтому не удивительно, что иные читатели весьма серьезно примут, например, такие выходки: «Отечественные записки» говорят, что г. Пирогов «был предметом *оскорбительной* статьи» в «Современнике», и затем дают мне совет: «Не торопитесь, не обращая внимания на среду, в которой они (люди, подобные г. Пирогову) действуют, *бросать в них камнем и грязью*»

(«Отечественные записки», IV, стр. 62){4}. В VI № те же «Отечественные записки» «с искреннею благодарностью» помещают письмо какого-то г. Е. Суд., который выражается так: *«Самым неделикатным образом, во имя либерализма и гуманности, г. – бов отнесся к г. Пирогову»* (стр. 138){5}. «Не больно ли, когда какой-нибудь *журнальный крикун*, во имя либерализма и гуманности, *вздумает посягать* на такую личность, как Пирогов?» (стр. 142). Г-н Драгоманов также читает мне свысока наездание: «Не мешало бы *иметь побольше действительного уважения к личности* и долго подумать, прежде нежели окрестить человека *обидным прозвищем плантатора*. А то мы все как-то много фразерствуем о гуманности, а между тем *слишком торопимся негуманно обращаться с лицами*, особенно во имя гуманной идеи. Это наконец начинает надоедать. Пора от этого отделаться» («Русская речь», № 54, стр. 29){6}.

Ну, словом, я – обидчик, крикун, клеветник; мое призвание состоит в том, чтобы *посягать* на благородные личности и бросать в них грязью и камнями... Что ж мне с этим

делать? Защищаться? Противно очень, да, по всей вероятности, и бесполезно: ведь кого интересует задетый вопрос, тот может и справиться с моей прошлогодней статьей, а кто не интересуется, так для того что же и хлопотать? Меня же лично эти обвинения несколько не беспокоят: крики о страсти журнала, в котором я пишу, к поруганию всего высокого сделались уже таким неизбежным общим местом всякой полемики против нас, что я бы очень удивился, если бы журнальная братия не воспользовалась таким великолепным случаем, как моя статья о «Всероссийских иллюзиях».

Да, впрочем, что же и за дело публике до моих тайных намерений? Я мог бы доказать, положим, – что писал статью свою с наилучшими расположениями; но если она вышла несправедливо-оскорбительна, все-таки мне пришлось бы сознаться в дурном поступке и просить прощения. Отсутствие злонамеренности могло бы служить только облегчающим обстоятельством. Но я беру самый факт и утверждаю, что статья моя не включает в себе ничего оскорбительного для честного и

правдивого деятеля, каким представляется нам г. Пирогов, – и несмотря на все противные крики, несмотря на последующие объяснения некоторых обстоятельств, несмотря на охлаждение первых впечатлений, я ничего не могу взять назад из этой статьи.

Часто случалось мне слышать упреки, что я обращаюсь к почтенным лицам в небрежном и насмешливом тоне: тон статейки о г. Пирогове не может подвергнуться даже этому упреку. В серьезности и горячности тона именно и высказалось то глубокое уважение, которое питал я к г. Пирогову, и то огорчение, которое почувствовал я при виде жалкого факта, допущенного и освященного его авторитетом. Незадолго до того, восхищаясь непреклонной логикой автора «Вопросов жизни»<sup>{7}</sup> и светлым его взглядом, я вместе с другими предавался, против моего обычая, безрассудной иллюзии, что вот *этот-то* человек может неуклонно провести свои взгляды на практике и одолеть сопротивление среды. Это я высказал тогда и печатно, в назидание профессора Киттары, который, при всей своей гуманной репутации, показался мне на

практике весьма несостоятельным{8}. Но горький опыт разрушил восторженные иллюзии: и г. Пирогов оказался слабым перед средою, и он уступил, уступил не в мелочи, а в принципе, уступил в том, против чего решительно и ясно заявлял свое мнение прежде. Я увидел, что, вместе со множеством других, я преувеличивал свои надежды, увидел, что напрасно считал возможным для одного человека победу над мрачною средою, окружающею всех нас, и счел нужным высказать это для заявления своего мнения пред теми, которые, может быть, мною же отчасти введены были в ошибку, подобную моей. Поэтому смысл всей статьи вышел таков: вот мы бегаем за разными авторитетами, воображая получить от них все, чего желаем: увлечение, достойное наивного детства! Суровый опыт говорит нам постоянно, что под давлением нашей среды не могут устоять самые благородные личности; посмотрите – вот одна из лучших, Н. И. Пирогов, – а между тем с своим комитетом он принужден постановлять законом то, что прежде сам же объявлял несправедливым и диким, Горько будет, если и в этом

несчастном уклонении последуют за ним те, которые шли за ним по прямой дороге... И заключение статьи состояло в предостережении, которое я позволю себе выписать здесь:

«Нет надобности полагать свое спасение в деятельности какого-нибудь известного лица и слепо верить ему, а надо делать дело обща, пока идет обща, и продолжать в одиночку, если другие свернут в сторону, хотя бы эти *другие* были превознесены всеми похвалами и украшены всеми венками... Времена сказочных богатырей давно прошли, общественная жизнь слагается не по щучьему веленью, Иванушкину прошенью, – от влияния окружающей среды не могут освободиться даже самые лучшие личности; стало быть, нечего возлагать надежды на чужую деятельность, а надобно хлопотать о том, чтобы самому понимать дело и уметь вести его, по мере сил и возможности. Тогда мы приобретем две выгоды: не будем лжецами пред самими собою и не будем испытывать мучительных сомнений от идей г. Миллер-Красовского{9}, даже в том случае, если нам станет проповедовать их *сам* г. Пирогов».

Чем же мог бы тут оскорбиться г. Пирогов? Неужели тем, что из него не делают и не советуют делать кумира? Неужели тем, что убеждают принимать сознательно и с критикою его мнения? Неужели тем, что вызывают свежие силы – не откликнутся ли они из той самой среды? мертвящему влиянию которой должен был уступить сам г. Пирогов, действительно приобретший себе на Руси репутацию характера твердого и непреклонного?

«Нет, – говорят нам наши противники, – не то было оскорбительно в статье, а вот что: в ней нападали на Пирогова, как будто не изменившего своим убеждениям, а между тем он им вовсе не изменял, а только уступил – во-первых, большинству комитета, а во-вторых – статьям училищного устава, которых он не вправе был отменить». По мнению г. Праздношатающегося в «Отечественных записках», г. Пирогов этим обстоятельством совершенно оправдывается, а по уверению гг. Е. Суд. и М. Драгоманова, даже особенно возвышается. Г-н Драгоманов пространно рассуждает, что «это подчинение коллегии не отрицательно только хороший факт, не порок только, но

добродетель. Пирогов не только подчинился решению коллегии, которую создал, – *он не хотел иначе действовать, как посредством коллегии*[2]. На коллегиальном принципе основана была вся его деятельность, в этом главная его заслуга...» и пр. То же говорит и г. Е. Суд.: «Пирогов уступил большинству. За такие уступки его еще более стали уважать люди, разумно следившие за ходом его общественной деятельности. Мы видели в Пирогове начальника, который уважает общее мнение, никому не навязывает своего...» и пр. и пр.

Из этого, разумеется, и выходит, что я – поборник либерального деспотизма, что по-моему Пирогов должен был произвольно отвергнуть мнение комитета и заставить всех насильно быть гуманными. Характеризуя мое направление, гг. Е. Суд. и М. Драгоманов доходят до удивительного и трогательного *единогласия*. Один гласит:

«Пора нам понять, что мало пользы приносят и возмутительные Калиновичи, которые, считая себя «высшими организмами относительно всей этой массы», ломают ее с озорни-

ковским pour leur bien[3], что недалеко ушли эти господа цивилизаторы от ремесленников, которые бьют своих учеников, говоря: «Тебя же, дурака, добру учат» («Русская речь», стр. 30).

Так же точно и г. Е. Суд. провозглашает, что по-моему Пирогов должен был «оказаться либеральным чересчур или, пожалуй, щедринским озорником{10}, высшим организмом относительно всей этой массы, благодаря неусыпному попечительству которого мужик понимает, что и он – ничего и сход его – ничего... и только просвещенный взгляд администратора может осветить этот хаос», и пр. («Отечественные записки», стр. 140). Все это почтенный г. Е. Суд. для большей убедительности пропечатал даже курсивом.

«Мы много фразерствуем о гуманности, а сами торопимся слишком негуманно обращаться с лицами, особенно во имя гуманной идеи; пора от этого отделаться», – восклицает г. Драгоманов. Да, г. Драгоманов, – пора: вот хоть бы вам или г. Суд., прежде чем бросать в меня стрелы своего красноречия, что бы хоть перелистовать мою статейку!.. Вы бы тогда и

увидали, что красноречие ваше тратится понапрасну, мало того – что оно даже отзывается недобросовестностью. Кто вас прочтет, тот ведь подумает, что я в самом деле обрушился на одного г. Пирогова, что о комитете и коллегиальном принципе я, может быть, и не знал и не думал совсем... А между тем в статейке моей нападения вовсе не обращены исключительно на г. Пирогова: иной раз говорится: «г. Пирогов», а в другой – «киевский комитет», «киевские педагоги», или просто «Правила», или же – «г. Пирогов с своим комитетом». Мало того – ведь весь смысл статейки состоял в том, что «вот как подчиняется у нас влиянию неблагоприятной среды деятельность даже самых лучших людей». Выходит, что ярые защитники благородной личности г. Пирогова совершенно напрасно поторопились обозвать меня озорником, Калиновичем (и дался же им этот Калинович! Точно бессмертный тип какой!) и пр. Выходит, что я нападаю не на личность, а на комитет и на Пирогова, как на его председателя, следовательно как на одного из влиятельнейших членов, да еще притом заявившего себя незадолго перед тем целой

России отвращением от тех мер, какие в комитете были допущены. В попытках негодования мои жаркие противники просмотрели это обстоятельство и не могли придумать для моей статьи лучшего мотива, как «теорию либерального деспотизма». Вот попали-то!..

А впрочем, я даю повод подозревать, что я увертываюсь: ведь статья моя, точно, отзывается очень жестко о г. Пирогове, как будто о человеке, имевшем возможность поступить иначе, чем он поступил. А поступить иначе он мог, только последовав «теории либерального деспотизма», или, что все равно, «принципам г. Добролюбова», выведенного на свет божий г. Драгомановым. Ясно, стало быть, что я осердился на благородную личность именно за то, что она не оказалась таким «озорником», как я...

На это я мог бы возразить, что не все так узко понимают меня: «Отечественные записки», например, сообразили, что, по моим требованиям, г. Пирогов должен был бы выйти в отставку, видя невозможность провести на практике свои убеждения. Поэтому они возражают: «Что будет с нами, если честные де-

атели, из-за того, что им невозможно вдруг, всецело осуществить своих благородных стремлений, покинут дело и удалятся с поприща действительной деятельности, на котором, к сожалению, они и без того долго не остаются?»... Вот то-то и есть, что не остаются, – замечу я кстати: не оттого ли и не остаются, что уже слишком податливы? Ведь если бы все умные и честные деятели приняли за правило – вступать в общественную деятельность не иначе, как с условием развивать свою программу, так их программа скорее пошла бы в ход, потому что, как хотите, а без честных и умных деятелей никак не обойдешься ни в какой отрасли общественной жизни. Самое их удаление было бы, во-первых, живым протестом, во-вторых, свидетельством их независимой силы и, в-третьих, горьким уроком для тех, которые до сих пор привыкли пользоваться их услугами, в то же время налагая различные «уступки» на их убеждения...

Впрочем, речь шла и не об этом. Радикальная теория могла бы, конечно, доказать, что для г. Пирогова и для России, или по крайней

мере для Киевского учебного округа, было бы вовсе бесполезно, если бы г. Пирогов решил скорее отказаться от своей должности, нежели допускать водворение нелепости, против которой сам же вооружался... Но я, признаюсь, даже и этого не имел в виду: куда нам до таких воззрений!.. Мотив моих нападений, насколько они касались г. Пирогова, был гораздо проще и ближе к обыкновенному, житейскому пониманию. Он состоял вот в чем:

Г-н Пирогов не просто уступил решению комитета, не просто склонился перед необходимостью... Он не стал просто в пассивное положение человека, которому связали руки; нет, он и со связанными руками бросился вперед, чтобы заслонить собою тех, которые его связали... Ну, естественно, что сильнейшие удары и пришлись по нему... Кто писал предисловие и текст объяснений к «таблице наказаний»? Н. И. Пирогов. – От чьего лица пишет он? Коллективно или нет? – Нет, он говорит: «я предлагаю», «я нахожу»... Значит, основания «Правил» – его. Мало того – в заключение предисловия он говорит: «Я пред-

лагаю дирекциям... следующие положения комитета, *вполне разделяемые и мною*» («Журнал для воспитания», 1859, № XI, стр. 112). И против этих слов нигде нет никакого протеста, никакой оговорки. Скажите, добрые люди, – такой образ действий тоже необходимо требовался, чтобы не впасть в «либеральный деспотизм», не сделаться «озорником» и пр.?.. Кажется, никто ни в каких комитетах никогда не обязывался мгновенно делаться рыцарем противных убеждений, как скоро они утверждены большинством. Г-н Пирогов мог уступить решению комитета, но мог тут же, ясно и решительно, заявить пункты своего несогласия с ним. Тогда бы вышло совсем другое: отсталость киевского комитета и училищного устава не покрывалась бы гуманным авторитетом г. Пирогова, и не было бы нам с г. Е. Суд. никакой причины горячиться... Но г. Пирогов этого не сделал... Да что же я говорю – не сделал?.. Он, напротив, постарался мотивировать ненавистный параграф о розгах... Чем же? «Тем ли, что комитет желает их удержать и что попечитель не имеет права изменять училищного устава? Нет, а тем,

что: 1) нельзя вдруг вывести розгу из употребления, 2) трудно придумать что-нибудь вместо нее, 3) в школу поступают дети, уже сеченные дома, 4) в некоторых случаях проступки требуют сильного, мгновенного сотрясения...

Таким образом, г. Пирогов делался пред судом публики (имеющей полное право не знать интимностей комитета) не человеком, «с болью в сердце вырвавшим у самого себя уступку», а просто-напросто сообщником киевских педагогов (мудрость которых мы еще увидим впереди – по подлинным свидетельствам самих киевлян). И после этого я виноват, что не отделил тайных убеждений г. Пирогова от того, что он редижировал для комитета? Да какое же мне-то было дело до тех его убеждений, которых он сам знать не хотел? Вы можете кричать на меня сколько вам угодно, а я, по совести говоря, не раскаиваюсь теперь даже в тех иронических фразах, в которых говорилось, что, вероятно, среди киевского комитета г. Пирогов действительно нашел какое-то удобство в розге и быстро убедился в ее полезности...

Но если уж пошло на то, чтобы присты-

дить вас, господа противники «принципов г. Добролюбова», – я вам скажу, что я в своей статейке сделал более, чем от меня требовалось: я проник в то, во что мог бы и не заглядывать. Видите ли, в одном месте моей статьи (стр. 170) я говорил: *«Только совершенным несогласием истинных убеждений г. Пирогова с принятой мерою можно до некоторой степени оправдать те противоречия, какие встречаются в каждой строчке «Правил» там, где говорится о телесном наказании»*. В числе этих противоречий было указано мною следующее: причиною допущения розги выставлена, между прочим, потребность сильного, *мгновенного* сотрясения, и потому оно должно следовать *непосредственно, безотлагательно* за проступком; а между тем розга назначается не иначе, как по определению педагогического совета, после расследования и обсуждения дела... В «Отчете о следствиях введения «Правил» (рекомендуемом мне г. Драгомановым, который даже сожалеет, что я не читал его, когда писал свою статью!){11} г. Пирогов сам сознается в следующем: «Замечу здесь мимоходом, что нам указали некоторые

на противоречие в «Правилах», относящееся до телесного наказания. Мы приняли, что это наказание тогда только может достигнуть цели, когда оно будет употребляться безотлагательно и вслед за проступком, а между тем определение его предоставили педагогическому совету. *Это действительно противоречие*, но такое, которое говорит само за себя. Мне оно казалось необходимым. Когда большинство в комитете сочло невозможным уничтожить совсем телесное наказание, то *это противоречие выразило мой личный протест, который должен был напомнить педагогическим советам, какого я мнения о розге. Вот и все*» («Журнал для воспитания», 1861, № IV, стр. 216).

Прочли ли это место мои возражатели? Если прочли, то как же они не заметили, как оно для меня благоприятно? Ведь нельзя не согласиться, что *протест* г. Пирогова был уже слишком тонок, так что кроме меня действительно едва ли кто и заметил его. А я заметил и указал печатно – позвольте уж похвалиться этим!.. Или, напротив, и тут я виноват в чем-нибудь?

Впрочем, во всяком случае, что бы ни говорили о неприличии моего обращения с г. Пироговым, – дело разъясняется в мою пользу, или, лучше сказать, в пользу самого дела: издавая свои «Правила», г. Пирогов не только не протестовал против некоторых пунктов их, но даже сказал, что *вполне разделяет* мнения комитета, даже принялся их оправдывать; это многих могло ввести в заблуждение (и вводило) и заставить думать, что г. Пирогов действительно оправдывает розгу, как полезную меру наказания. Теперь г. Пирогов уже положительно объявляет, что он питает к розге прежнее отвращение и никогда не переставал питать его, но что ему делать было нечего против комитета. С этой стороны, значит, можно быть спокойным: педагоги розочных принципов не имеют за себя по крайней мере авторитета г. Пирогова.

\* \* \*

Вот я и покончил с моими строгими судьями. Но дело мое только что начинается. Вообразите – ведь розгу все-таки отстаивают!..

«Как же это, однако, – восклицает читатель, – после всего, что сказали сами поборники

ки г. Пирогова, после его собственных признаний, – кто же еще может осмелиться отстаивать розгу? Ведь они уж все объяснились, что и рады бы, да нельзя, или, как говорит г. Сухареv (это тоже наш антагонист) в «Русской речи»: «Хотели бы, да Фатей не велит!»... Ну, после этого уж и молчи...»{12}

Читатель оказывается недогадливым: он забывает *среду*. *Среда* требует, читатель: как же ее не послушаться?

Вы опять удивляетесь: «Как, законодатель должен постановлять нелепые законы, если среда нелепа, должен освящать законом всякие гадости, если к ним среда привыкла!.. Да ведь он на то и законодатель, чтобы...»

Позвольте, читатель, – вы слишком торопитесь. Я сейчас объясню вам, в чем дело.

В моей статейке было замечено, что остановить сечение в школах вовсе не такая уж невозможность, как многим кажется: «Попечитель мог положить, чтоб не секли, – и не стали бы сечь». Эта последняя фраза, действительно слишком отважная и вызванная именно преувеличенным доверием к моральной силе и влиянию г. Пирогова, – послужила,

кажется, одним из сильнейших поводов к восстанию на меня. Разумеется, если б мне просто сказали: «где же, дескать, попечителю усмотреть за всеми в одиннадцати гимназиях округа», – так мне бы и возражать нечего было. Но нет, г. Драгоманов, подхвативший мою фразу, не с этой стороны напал на нее, а забрал гораздо выше: «воспрещать сечь, это, видите ли, значит приказывать учителям насильно быть либералами», то есть опять-таки «действовать по принципам г. Добролюбова». А уж это – чего хуже!..

Мы с вами, простосердечный читатель, думали до сих пор, что есть разница между положительными и отрицательными фактами. Оказывается, что никакой. Вы не допускаете вора стянуть ваш кошелек – вы, значит, насильно заставляете его быть честным человеком; вам запрещают драться – хотят из вас насильно сделать либерала... Если вы встретите на улице г-на Козлянинова, тузящего женщину{13} или ребенка, – вы, может быть, почувствуете порыв отнять у него беззащитную жертву? Удержите же ваш порыв, если не хотите заслужить обвинение «в последовании

принципам господина Добролюбова». Вы рас- судите, что ведь у нас *среда такая*: дерутся, да и только... Ну, положим, вы и прекратите без- образие на улицах – что же из того? Ведь до- ма – мужья жен бьют, отцы – дочерей, разные франты – своих любовниц: а уж если дома де- рутся, то как же на улице-то воспретить? Оно хорошо бы, слова нет – очень бы хорошо, да еще никак нельзя: хоть и воспретишь на бу- маге, а на деле все будет продолжаться... Об- ратитесь к городovým и спросите: есть ли воз- можность предупредить драки на улицах и оскорбление женщин? «Никакой возможно- сти, – ответят вам городové по большинству голосов, – ибо, дескать, у нас уж грубость нра- вов такая...» Что делать в этом случае?.. Ясно что: рассмотреть различные случаи публич- ных ссор и оскорблений, подвести их под руб- рики и, по совещании с городóвыми, постано- вить правило, в каких случаях г. Козлянинов имеет право тузить публично женщин и де- тей, в каких нет.

Вы думаете, мы это на смех выдумали? Во- все нет. Я думаю, что если бы спросить об этом мнения, например, г. Драгоманова, так

он рассудил бы именно таким образом. Посмотрите, например, как он доказывает необходимость узаконения розги.

«Нам могут привести еще одно возражение: «Как ни толкуй, а детей все-таки секут». *Это, конечно, очень прискорбно.* Но (внимайте же!), во-первых, секут гораздо меньше (радость-то какая!). Во-вторых, количество высеченных в гимназиях (27 гимназистов) – капля в море сравнительно с высеченными дома (ну да – количество побитых г. Козляниновым с компаниею, – что же значит в сравнении с числом тех, кому дома задают потасовку!): родители все-таки не перестают сечь своих детей. *Что делать, если общество так неразвито* (конечно, другого нечего и делать, как утвердить его законом в его неразвитости!). Вот два примера (г. Лев Камбек мог бы насчитать и больше){14}. В Полтавской губернии, говорил нам человек, близко знакомый с делом, многие родители взяли своих детей из одного уездного училища, услышав, что там уж не секут; в К – е процветает *частный пансион*, в котором воспитываются мальчишки довольно богатых родителей и в котором учени-

кам делается систематическая порка (ясно, что именно этот пансион и должен служить образцом для киевских педагогов!). В-третьих – наказание розгами так ограничено «Правилами», назначается за такие проступки, что оно достается только тому, кого дома любезные родители раз по пять в год секут (это *в-третьих* решительно совпадает с *первым* и *вторым*, но г. Драгоманов в жару защиты забывает требования логики; не будем слишком требовательны к юноше). *Наконец*, скажем мы с Пироговым, «самые драконовские законы не будут страшны, если будут законно применяться» (то есть неудобство розги г. Драгоманов видит только в излишней строгости этого наказания, а не в моральном его безобразии: ведь так надо понимать его, если только он изучал древнюю историю и помнит, в чем упрекали драконовские законы{15} («Русская речь», стр. 30).

Я бы не привел отзыва г. Драгоманова, если бы не нашел подобной же мысли в самом «Отчете о следствиях введения правил о проступках и наказаниях», писанном г. Пироговым. Он тоже оправдывает свой образ дей-

ствий тем обстоятельством, что «нравы общества не приготовлены еще к отмене телесного наказания». Предложив сначала эту отмену, но «не нашед сочувствия в большинстве членов», – г. Пирогов «вскоре убедился, что бесполезно было бы уничтожить на одной бумаге, под видом гуманности и современности, средство, которое и многие воспитатели и большая часть родителей признают еще необходимым». Далее, «Отчет» приводит, что еще в прошлом столетии телесные наказания в училищах отменялись, но это не удержалось именно потому, что «убеждение в необходимости телесного наказания было еще слишком сильно и у родителей и у воспитателей», В «Устав» 1828 года опять введены телесные наказания, и как нельзя более пришлись по вкусу общества: «Отцы и теперь еще обращаются в училища и гимназии с просьбами сечь детей и сами секут дома; ученики шестого и седьмого классов, не нынче, так завтра студенты, тайком, без ведома гимназического начальства, за поступки против чести секут своих товарищей. Вот факты, обличающие нравы общества» («Воспитание», II, 60).

В статейке «Всероссийские иллюзии» я уже опровергал круговую поруку домашнего сечения с гимназическим. Здесь повторю только, что именно потому и важно отменение телесного наказания в школах – что оно сильно употребляется в домашнем воспитании. Если бы общество все чувствовало отвращение к этому роду наказаний, тогда не было бы особенной важности в существовании его где-нибудь на бумаге. Это говорит сам г. Пирогов: «Если, говорит, действительно общественное мнение вопиет и громко требует отмены телесного наказания – чего же лучше и о чем же тогда спорить? Мы будем рады, уже верно, не менее других, и *что за дело тогда, будут ли наши правила угрожать виновному розгой или нет, – все равно: против общественного мнения не устоят никакие правила, и розга, оставаясь на бумаге, исчезнет на деле*, а это-то и есть именно то, о чем мы все хлопочем». Эти соображения были бы совершенно логичны и неопровержимы в устах человека, отличающегося умением искусно поддерживать старую рутину и даже делать в ней кое-какие починки. Но не такие слова хо-

тели бы мы слышать от Н. И. Пирогова, человека, на которого с такой уверенностью обращались общие надежды как на человека, умеющего пролагать новые пути и проводить новые начала в общественной деятельности. Он мог бы и не ожидать, пока общественное мнение *не будет уже терпеть розги*; он мог дать толчок общественному мнению, мог и должен был всеми силами стремиться к тому, чтобы преобразовать его сообразно с своими началами. В этом смысле принятие на себя тех пунктов «Правил», с которыми он был сам несогласен, составляет, на мой взгляд, важную ошибку, которая и теперь едва искупается сделанными объяснениями.

Г-н Пирогов замечает в «Отчете», что бороться против предрассудков и ложных взглядов он предпочитает в жизни, а не на бумаге. «Мы боремся, – говорит он, – да и не с одними предубеждениями общества, а и самой школы, еще недалеко опередившей общество. Мы боремся, твердо зная, что нравы и ложные взгляды нельзя переменить предписаниями и письменными правилами. Потому мы восстаем против розги и выводим ее из на-

ших школ не на письме, а на деле. Она должна исчезнуть не по приказанию начальства, а по общему единогласному убеждению воспитателей, когда они найдут в себе довольно воли и искусства заменить ее более нравственным суррогатом». Все это прекрасно, и общее мнение уже успело воздать должное благородной и плодотворной практической деятельности г. Пирогова. Но как же *предписания-то*? Разве уж он их ни во что не ставит? А они иногда бывают важны. Вот, например, хоть бы в этом же вопросе: по положениям 1794 года отменено было в училищах телесное наказание; в «Уставе» 1828 года восстановлено. В 1859 году г. Пирогов снова находит это наказание излишним, но отменить его не может, – и самое первое, высшее и непреклонное препятствие находится в статьях «Устава». Он спрашивает комитет: «Не лучше ли отменить розгу?» – но сам тотчас же замечает: «Собственно, я и не имел права об этом спрашивать, потому что существующий Устав училищ признает еще ее необходимость» («Воспитание», II, стр. 59). Видите ли все-таки, как существующие на бумаге прави-

да связывают дальнейший прогресс: ведь нельзя не сознаться, что, не будь в «Уставе» положений о телесном наказании, г. Пирогов мог бы действовать по этому вопросу несколько свободнее, да и комитету не было бы легальной опоры для отрицательного ответа.

Никто не спорит, что при дурных нравах искажаются самые лучшие законы. Но все же нельзя узаконить дурных нравов. Теперь, например, никакими предписаниями нельзя вконец искоренить по всей России взяточничество; с этим мы согласны. Но неужели поэтому нужно дать ему законную силу? Неужели возвратиться к старинному порядку *кормления*{16}, на том основании, что сущность этого порядка до сих пор не исчезла из нравов? И если бы где-нибудь в уголке России уцелело еще установление *кормления*, то неужели *новое* законодательство должно было бы поддерживать его, покамест сами *кормящиеся* от него не откажутся? Ведь, следуя такой системе, пришлось бы, пожалуй, и *произвол* оставить в покое, на том основании, что, по свидетельству самого же г. Пирогова,

он слишком сильно распространен был в гимназиях еще в очень недавнее время. А между тем г. Пирогов смело пошел против произвола, созвал комитет, постановил правила, несмотря даже на возгласы некоторых педагогов, что правила вовсе не нужны. Вот за это, разумеется, честь и слава г. Пирогову...

Все это я говорю, возражая только против *мнения* г. Пирогова, будто законодательство должно выжидать, пока жизнь предупредит закон, то есть, иначе говоря, – когда нарушения прежнего закона сделаются так сильны и повсеместны, что уж старого закона нельзя будет удерживать. Мне кажется, что если, например, кто-нибудь при составлении проекта нового училищного устава будет руководствоваться этим мнением, то поступит очень неосмотрительно. Конечно, при неразвитости общества часто не достигают цели самые лучшие законы; но, с другой стороны, надо заметить, что чем человек неразвитее, тем чаще действует он без сознания, по рутине, и, следовательно, тем более расположен (разумеется, там, где не мешает личная выгода) в своих действиях соображаться с тем, что ему

положено свыше. Поэтому, узаконите розгу – это розочникам на много лет придаст бодрости; отмените ее – и на действиях их все-таки хоть сколько-нибудь отразится сознание, что установленная над ними сила закона – не в их пользу.

«Но в практической деятельности, – возражают нам, – г. Пирогов достиг самых лучших результатов, каких только возможно было желать. Вот доказательство, что все теоретические умствования против его системы – совершенно несостоятельны».

Об этом мы сейчас поговорим.

Против практической деятельности г. Пирогова, против его личности мы решительно ничего не имеем. Во-первых, мы знаем, что он был связан в своей деятельности существующим уставом и не имел никакой практической возможности явиться реформатором. Во-вторых, мы знаем теперь, что он употреблял усилия сделать то, чего мы желаем, – но встретил препятствия в большинстве. В-третьих, мы видим, что, несмотря на все препятствия, влияние его благородной личности было, в самом деле, сильнее, нежели, может

быть, самые решительные и строгие запрещения при другом начальнике.

Но, признавши все это и присоединив свой отдаленный голос к благодарным голосам, раздававшимся вокруг г. Пирогова при его проходах, я все-таки не могу отстать от своих нападений на *систему* и на некоторые положения, допущенные в «Правилах». Сначала скажу о частностях; об опасности, грозящей самому делу от принятой системы, поговорю в заключение.

В «Правилах» не одно *допущение* розги мною признано несправедливым, но и то, *за что* она допущена. Ею наказываются: *воровство* и *дерзость* или вообще – *оскорбление*. Судя по «Правилам», я заключал, что телесное наказание положено также и за *фанатизм*, так как против него в таблице стоит то же наказание, как и за оскорбление посторонних лиц, то есть розги, в третьей степени – для низших классов, и исключение – для высших. Это было бы *уже* слишком нелепо, и теперь

г. Пирогов объясняет в «Отчете», что тут был «недостаток редакции», а на самом деле за фанатизм никогда не предполагалось сечь,

так как в низших классах не считаются возможными серьезные его проявления[4].

Но почему же за *воровство* – телесное наказание? Какое соответствие между тем и другим? Вот что спрашивал я еще в прошлом году и чего никто до сих пор не объяснил хорошенько. Почему также и дерзость или оскорбление заслуживают розгу по преимуществу? Да и как определить степени оскорбления, как подвести под один уровень взгляд наставников на дерзость? Если уж в самом комитете большинство отличалось такою мудростью, что, например, за лихоимство постановило наказание меньше, чем за простое воровство (о чем я тоже заметил в прошлом году[5]), то каких подчас премудрых соображений можно ожидать от иных педагогических советов! И сколько тут может быть произвола, об уничтожении которого так хлопочет г. Пирогов.

На первый раз, под управлением Пирогова, при «Правилах» действительно умерились наказания. Это видно из одной таблицы высеченных за 1858 (до кодекса) и за 1859–1860 годы (после кодекса). Вот эта таблица:

			В 1858		В 1859–60
В Киевской 1-й	гимназия	из	215–3	из	201 — 1
« Киевской 2-й	«	«	625–44	«	650 — 2
« Белоцерковской	«	«	220–38	«	266 — 0
« Волынской	«	«	600–290	«	635 — 5
« Ровенской	«	«	300–6	«	354 — 5
« Подольской	«	«	400–37	«	470 — 7
« <u>Немировской</u>	«	«	600–67	«	568 — 5
« Черниговской	«	«	240–18	«	276 — 0
« <u>Новгородсеверской</u>	«	«	250–8	«	288 — 0
« <u>Нежинской</u>	«	«	260–2	«	264 — 2
« Полтавской	«	«	399–39	«	338 — 0
Во всех	«	«	4109–561	«	4310 — 27

Одно сличение цифр в этой таблице показывает, как несправедливы уверения, будто розгу нельзя вывести из воспитания, будто общественное мнение этому противится. Гимназии не опустели. Пироговым остались все довольны, несмотря на то, что его действиями произведена была такая резкая перемена, как, например, в Волынской гимназии, где число высеченных вдруг вместо 290 стало 5. Замечательно еще, что *вовсе перестали, сечь* те гимназии, в которых до того *наиболее секли*. Пропорция высеченных всех выше была (после Волынской) в Белоцерковской и Полтавской гимназии, – а теперь там не было

ни одного случая. Мы не знаем, чему это приписать – перемене ли личностей начальственных, «Правилам» ли, – но верно одно: нравы населения в этих местностях и натура гимназистов не получили же мгновенного волшебного превращения. А между тем ведь начальство этих гимназий в прежнее, еще столь недавнее время имело, конечно, свои резоны для оправдания необходимости телесного наказания там, где оно было употреблено... Верьте же после этого их отзыва и основывайте на них ваши законы!

Нас спрашивают: «Да что же вы придумаете вместо розги?» И видя, что мы ничего не придумываем, торжествуют... Но, в сущности, это довольно забавно: мы – профаны, а вы – призванные во святилище педагогики; вы берете на себя руководить детей наших, – и руководите их, между прочим, розгой. Мы говорим: «Это нам не нравится, этак-то и без вас можно бы воспитывать; а вы придумайте что-нибудь другое, если уж взялись». А вы нам отвечаете: «Да что ж придумать-то? Скажите нам, мы тогда и придумаем...» И затем вы глумитесь над нами, что мы ничего не умеем

придумать, а туда же – смеем быть недовольны... Почтенные педагоги! Войдите же наконец в ваше собственное положение и рассудите: кто к кому должен обращаться с требованиями в вопросах о воспитании – вы к нам или мы к вам?

Впрочем, ведь если нужна не радикальная перемена всей системы воспитания, а только улучшеница в старой системе, так тут и меры нужно придумывать не особенно замысловатые. А например (если бы в ваших руках была власть отменить розги, разумеется) – отчего бы прямо не заменить розги увольнением? Жестоко, скажете? – Нет, не так жестоко, как кажется. Ведь вы только раз допускаете розги, а потом увольняете; сечете за воровство, во-первых. За воровство мальчика сечь вы сами присуждаете только тогда, когда оно имеет не характер шалости, а обнаруживает испорченность воли. В таких мальчиках, имеющих серьезную склонность к чужому с детства, прок бывает редко; держаться за них нечего... Жаль, что в «Отчете» г. Пирогова не сказано, все ли высеченные за воровство исправились, и вообще какие последствия име-

ло сечение на характер и поведение высеченных. Это было бы очень любопытно. Но даже если и замечены были исправления, то здравый смысл не позволял отнести их к телесной боли от розги, разве к стыду... но стыда, наверное, было больше во время открытия и расследования поступка, нежели во время экзекуции. Притом же позволительно думать, что во многих случаях наказаны были мальчики, не имевшие положительной испорченности в этом смысле, а таскавшие чужое просто по глупости... Этих можно бы унять и без розги.

Относительно дерзости тоже надо сказать: или это вспышка дитяти, и тогда не бесчеловечно ли пороть за нее, как бы становиться самому ребенком и вымещать свою обиду? Или же дерзость или всякое другое оскорбление имеет серьезный вид, происходя либо от испорченного нрава ученика, либо от его антагонизма с начальником. В этих случаях увольнение – самое лучшее; потому что если после розги ученик и сделается тише в отношении к нелюбимому наставнику, так ведь тайная-то ненависть загорится еще сильнее.

Скрытность и лицемерие – самые прямые результаты употребления розги в подобном случае.

Но, говорят, сами родители часто просят, чтобы их детей секли... Ну, вот для этих случаев и сохраните вашу розгу, если уж вам так жалко с нею расстаться. Можете даже положить, что если еще остается хоть какая-нибудь надежда на возможность исправления мальчика, если он обнаружил полное раскаяние при получении увольнения и родители его упрашивают лучше высечь, но оставить в гимназии, – то можно, уступая их просьбе, делать опыт. Вот вам и требования *среды* будут удовлетворены.

«Да так, наверное, придется больше сечь, чем теперь, при «Правилах»», – доносятся до меня восклицания гг. Е. Суд., Драгоманова, Сухарева и мало ль еще кого... Но я не смущаюсь. Очень может быть, говорю я, но только, наверное, количество случаев сеченья будет быстро уменьшаться, потому что отцы возьмут же наконец амбицию, и потом все эти случаи сеченья будут походить на случаи самопроизвольного отравления или голодной

смерти преступников. У нас ведь не казнят ни ядом, ни голодной смертью, – а иной возьмет да и отравится или уморит себя голодом в тюрьме. Ну что же с этим делать? Так уж ему, стало быть, понравилось...

Что же касается до системы, принятой при Н. И. Пирогове, – действовать лично, на деле, а в закон допустить то, чего среда требует, – за эту систему я очень боюсь. Пока г. Пирогов был в Киеве, все шло отлично, – слова нет. И произвола было меньше, и секли меньше, и учились лучше, и пр. и пр. Но что тут действовало, – «Правила» или личность? Ведь из самых речей, сказанных г. Пирогову на прощанье, даже из выходов против нас – видно, что тут *личность* покрывала все. Дерзнули не согласиться с «Правилами» Пирогова – и никто даже не вздумал вникнуть в пункты несогласия, а все увидели только то, что о Пирогове говорится как-то не то чтоб совсем неуважительно, а так – не совсем в обычном тоне. В разных речах беспрестанно говорится: «вы ограничили произвол», «вы эманципировали детей от безумного и унижающего человеческое достоинство телесного наказания», «вы

укрепляли приверженцев добра, увлекали их теплотою чувств и закрепляли их увлечение убеждением и рассудком», «вы старались разумно вызвать в нас педагогическую деятельность»{17}, и пр. и пр. Честь и слава Н. И. Пирогову, и горько, что он не остался дольше на своем месте. Мы вполне сочувствуем его и общему желанию, чтоб его влияние продолжалось как можно дольше в Киевском учебном округе и во всей России, если можно. Но ведь вот его нет... и мы что имеем пред собою? Все-таки (ограничиваясь лишь нашим вопросом) «Правила» весьма неудовлетворительные, допускающие розгу и дающие широкий простор произволу воспитателей в их применении...

Произвол выказывался уже и при г. Пирогове, как видно из «Отчета»: из 27 случаев телесного наказания про двух еще неизвестно, наказаны ли они по определению педагогического совета; в одном случае наказание было определено несообразно «Правилам», а в четырех других директор поступил произвольно («Воспитание», III, стр. 111). Г-н Пирогов умел остановить эти беспорядки, и директор, поступивший произвольно, перешел уже в

1860 году (по замечанию «Отчета») в другой округ. Но все ли сумеют и захотят останавливать?

При Пирогове, разумеется, гимназии старались отличить себя малым количеством или отсутствием экзекуций. Но чем, кроме подобного гуманного влияния начальства, обеспечено такое стремление на будущее время? Ведь только благодарною памятью о Пирогове. А «Правила»-то дают полную волю – пороть за дерзость, даже *вызванную* самим начальником или наставником. Кажется, в этом случае логичнее было бы постановить, положим, замечание... да нет, впрочем, и замечания не нужно для ученика... но зато для учителя или гувернера непременно строжайший публичный выговор, а затем – при новом разе – прямо увольнение. А ведь в «Правилах» за оскорбление начальника на должности положено в самой низшей степени вины, то есть при всех облегчающих обстоятельствах, даже при вызове со стороны самого начальника, – строгий арест с угрозой розог, а во второй степени розги, а там – исключение. Какую дисциплину можно завести в гимна-

зии на основании одного этого правила, которое при Пирогове, конечно, не смели применять к делу!..

«Но педагоги, бывшие под влиянием г. Пирогова, будут всегда верны его началам. Ведь он сам говорил им на прощанье: мои убеждения в сущности – ваши убеждения; моя заслуга только в том, что я угадал ваши взгляды», и пр.

Конечно, так, г. Пирогов говорил это. А все бы вернее, кабы «Правила»-то получше существовали... Ведь когда г. Пирогов говорит не дружеские фразы, а самое дело, так и он тоже оказывается не слишком высокого мнения о наших педагогах вообще, а следовательно, и о киевских. Говоря о журнальных разборах «Правил», он именно упрекает их за слишком высокие требования. Слова его вовсе неутешительны.

*«Вправе ли мы требовать, – говорит г. Пирогов, – от наших педагогов высокого призвания, опыта жизни, самоотвержения, христианской любви и трудного искусства индивидуализировать? Откуда могут вдруг взяться у нас та-*

кие личности? Кто вел, кто подготовлял их этим путем? Где и у кого могли они заимствовать образец высоких качеств? У прежних ли их наставников, в жизни ли общества, в окружающей ли их среде, в семье ли своей, в воспитательных ли заведениях?.. Требовательные идеологи вовсе позабыли, что наших учителей никто до сих пор не учил трудному делу педагогики, наших инспекторов и директоров никто не выбирал по их педагогическим заслугам, которых и доказать даже было им невозможно... Можно ли забыть, что наши надзиратели, инспекторы и директора покуда все-таки остаются теми же чиновниками-воспитателями, как и прежде, – одни из них завалены письменными делами дирекции, а другие, исполняя неисполнимые обязанности нравственного надзора за 500–600 учениками, поневоле ограничиваются одною официальностью?.. Но ясно ли для всякого, кто любит смотреть правде в глаза, что мы вводили наши правила, убежденные опытом в вопиющих недостатках общественно-го воспитания и воспитателей?» («Вос-

Далее находим, что и на розгу г. Пирогов согласился главным образом в уважение *неискусства* педагогов наших: «Телесное наказание можно еще назначить без большого вреда и без большого искусства (!), соображаясь с одним свойством проступка; самый простой воспитатель может без труда различить в проступке ребенка проявление дикой, животной чувственности и прибегнуть к телесному наказанию, если не умеет владеть иным, лучшим средством». Чтобы употребить с успехом другие, нравственные меры, продолжает «Отчет», нужно воспитателю гораздо более развития и искусства; а можно ли этого требовать от наших педагогов?.. Потому, конечно, и неудивительно замечание г. Пирогова: «С одной стороны, судя по журнальным статьям, можно подумать, что все передовые люди общества требуют во что бы то ни стало *отменить розгу в училищах*; но, с другой стороны, судя по отзывам многих дирекций и педагогических советов, а следовательно, также общества, да еще самого правогласного в деле воспитания, нужно заключить *совсем про-*

тивное» (стр. 62). Вообще г. Пирогов сознает-ся, что «как ни желательна гегемония школы над жизнью и как ни пошла еще наша жизнь, но она пересиливает» (стр. 64).

После этих признаний я замечаю в прошлогодней моей статье ошибку, которой замечать никому не приходило в голову. Правда, от г. Е. Суд. я уже заслужил что-то вроде упрека за то, что «обрушился на среду, морально расслабляющую самые лучшие личности»; но мне именно следовало в десять раз усилить ту часть статьи, где говорилось о губительном влиянии среды. Из признаний г. Пирогова вы видите, как она уже сама по себе, своей пошлостью, ограничивает деятельность передовых людей. Но не надо забывать, что она не всегда остается пассивною, она тоже принимает порою участие в этой деятельности, и тогда происходят явления до того странные, до того нелепые, что здравый смысл решительно теряется в их путанице. За примерами ходить недалеко – возьмем хоть нашу полемику с поклонниками г. Пирогова и представим из нее главные черты.

Человек в теории отвергает розгу и форма-

лизм; у него множество последователей и поклонников; он хочет провести свою теорию в практике, но, по несчастию, должен отказаться от этого намерения и уступить противным влияниям; вслед за этой уступкой раздаются резкие возражения и упреки за такой образ действий, высказанные под влиянием той же теоретической мысли, которой держится и сам упрекаемый. Как вы полагаете, каково должно быть в этом случае впечатление людей, сознательно принимающих ту же теорию? Как эти возражения должны быть приняты в кругу людей,

*Служащих делу, а не лицам?{18}*

Перенесемтесь в старое время, когда еще у нас формально существовало крепостное право. Смелый эманципатор искренне и горячо говорит об освобождении и увлекает за собою толпу последователей. Вдруг ему достается наследство; он, разумеется, немедленно хочет отпустить крестьян на волю, но встречает сильные препятствия и *покамест* уступает. Вдруг в толпе ему сочувствовавших раздается обличительный голос, изображающий кре-

постное право так, как оно стоит, провозглашающий святость свободных принципов и укоряющий эманципатора за уступку. Как вы думаете, что почувствуют при этом голосе искренние, сознательные приверженцы эманципации? Осердятся на смельчака, сочтут слова его посягательством, обидой? Нет, как бы они ни любили своего друга эманципатора, но если они любят и понимают также и самое дело, то не могут они не сообразить, что ведь в этом голосе для них помощь, новое средство обороны, что он увеличивает их силу, что с ним они смелее могут идти против обскурантов, мешающих делу эманципации. Что за дело, если даже несколько резких выходов и заденет их друга и учителя, – но ведь зато самое дело выигрывает, зато обскуранты знают, что вот какие голоса поднимаются даже за одну невольную и временную уступку их требованиям. И разумные приверженцы эманципатора, равно как и сам он, радуются возражениям, довольны упреками, желают, чтобы как можно больше раздавалось подобных голосов: ведь они выходят из тех же начал, высказывают те же идеи, которым слу-

жат и сами эти эманципаторы, – только высказываются резче и прямее, раздаются громче и внятнее, не будучи заглушаемы противным скрипом обоза практических мелочей.

Чего бы естественнее, кажется, такое отношение либеральных практических педагогов к полемике о розгах? Но дело вышло совершенно не так.

О самом г. Пирогове я не говорю: он везде трактует журналистов свысока и потому, конечно, и мою статью не удостоил счесть ни обидой, ни поддержкой для себя. Может быть, он и ошибается в своих понятиях о журналистике, – но это другой вопрос. Собственно же в этой полемике г. Пирогов остается в стороне. Пред нами одни его последователи.

Они, как оказывается, поняли все дело совершенно *лично*. Какие могли быть, например, хоть у г. – *бова* личности с г. Пироговым, способен ли такой-то человек из-за личностей исказить дело, может ли согласиться такой-то журнал сделаться органом чьих-нибудь антипатий, наконец, такой ли характер, такую ли цель имеет статья – об этом рассудить никому как будто не пришло в голову.

Возражений на мои замечания, серьезного разбора статьи никто не напечатал, а напечатали только какие-то беззубые выходки против моей *негуманности* (!) в обращении с г. Пироговым... Мне и всей русской публике – сообщали за новость, что «он может ошибаться и ошибается, как всякий человек, но ошибки *не отнимают у него* высокого ума, благородно-либеральных стремлений и сильного характера для возможных у нас разумных реформ». А я-то, видите ли, отнимал у него все прописанные качества!

Таковы-то оказались господа, оскорбившиеся за Пирогова и *напечатавшие* свои возражения на мою статью...

А то были еще другие господа, тоже оскорбившиеся и писавшие что-то такое, но нигде не напечатавшие своих писаний. Об этом сообщают нам гг. Е. Суд. и М. Драгоманов. Несколько статей и писем, по их словам, послано было из Киева в столичные журналы для опровержения «Всероссийских иллюзий», но ни одна из них не была напечатана. Читателей «Современника», вероятно, удивит это еще больше, чем самого г. Е. Суд., восклицаю-

щего из глубины души: «Чудные дела делают-ся на Руси! Один журнал взносит нелепости на человека *слишком* (?) почтенного, а остальные журналы, как бы по взаимному уговору, не хотят принимать никаких опровержений!» («Отечественные записки», VI, стр. 138). В самом деле чудно – я этому удивляюсь едва ли не больше всех. Известно положение «Современника» в нашей журналистике, известно, с каким рвением все журналы стремятся предохранить публику от его нелепых тенденций, в особенности же от его посягательств на всевозможные авторитеты. Не довольствуясь собственным трудолюбием по этой части, разные редакции обогащают русскую литературу этюдами гг. Цветов, Н. Ч., Воскобойниковых, подыскивают даже волюминозные трактаты в скромных стенах Киевской духовной академии...{19} Уж от киевских ли педагогов не приняли бы статьи! «Положим, они были дурно изложены, – скажем словами г. Драгоманова, – почему ж гг. редакторы не обратили внимания хоть на факты, которые были представлены в них верно, и не отвечали г. Добролюбову (то есть – бову) от

себя? – Благородный общественный деятель был оскорблен, и в защиту его было сказано только несколько слов в «Московских ведомостях», и то мимоходом, в письме из Полтавы {20}. Что заключить из такого факта?» Для нас возможно только одно заключение: вероятно, статьи были уж так плохи, что редакции поняли, что выступать с ними против «Современника» значило бы только срамить себя. Да, верно, и факты-то в них были в том роде, что Н. И. Пирогов – благородный человек, что в «Уставе» удержана розга и что при Пирогове в гимназиях секут меньше. А впрочем, нет, верно и того не было. Ведь вот теперь напечатаны же статьи гг. Драгоманова и Е. Суд., а в них ведь тоже никаких других фактов нет, да еще и логики недостает... Должно быть, другие-то возражения были уж еще хуже, хоть это и трудно себе представить.

А то нашлись еще такие господа – тоже хороши! – которые возблагоевели пред статейкою (тоже не поняв ее) и внезапно почувствовали... потерю уважения к г. Пирогову!.. Такое открытие делает г. Е. Суд., и г. Драгоманов подтверждает его. В заметке г. Е. Суд. объясня-

ется: «Бойкая статейка г. – бова производила свое *желанное* (?) влияние даже на киевлян, на тех людей, которые могли бы, кажется, по-лучше присмотреться к характеру общественной деятельности своего попечителя...»

Какое же это было *желанное* (вероятно, мною?) влияние? А вот какое: «Статьейка, *по виду* весьма гуманная и либеральная, *соблазнительно* действовала на *неопытную* публику (бедняжка публика: точно бедная Лиза!) {21}, подрывая во многих уважение к тому, которого она уже привыкла уважать». *Неопытность* соблазненной публики дошла до того, что она «заподозрила в отсутствии *грамотности* (вероятно, надо читать: гуманности) и истинного либерализма не г. – бова (как следовало бы, разумеется), а Пирогова, и малодушно отвернулись от него даже те, которые уважали его, соответственно своей степени умственного и нравственного развития»... А в статейке-то между тем, даже среди самых горячих тирад, при выражениях, которые могли бы показаться наиболее неприятными для самолюбия, – все-таки беспрестанно проглядывает мотив всей этой горячности,

состоящей в том, что автор чрезвычайно высоко ценит Пирогова и что именно такого-то человека тяжело ему видеть слабеющим и падающим под гнетом среды, в которую он поставлен. Да, слабеющим и падающим – я не боюсь повторить это: в отсутствии ясного протеста противных его коренным убеждениям пунктов комитетских «Правил» видно уже послабление, а в согласии мотивировать, оправдывать их и провозгласить, что «вполне их разделяет», – было его падение в этом случае. Вот об этом-то я и писал. «Тут нейдите, господа, – говорил я, – тут сам Пирогов упал...» И ведь я писал не для идиотов, а для людей рассуждающих, которые могли бы понять, что в статье дело идет о деле, о факте, в котором Пирогов принял участие, а вовсе не об общей и окончательной оценке всех его общественных заслуг, талантов, характера и пр. Я указал на его ошибку, положим даже преувеличив ее значение; я надеялся, что это выяснит дело и поможет торжеству новых, разумных начал над рутинною; но признаюсь – никак не рассчитывал я на такой эффект, какой указывается г. Е. Суд. И отчего

это? Ведь не оттого же в самом деле, что статья была уже до невозможности соблазнительна, irresistible[6], так сказать, а просто по причине самих же господ соблазненных. Я их никого не знаю, но г. Е. Суд., киевлянин, рисует их характеристику вот какими лестными красками: «Большинство сослуживцев его (Пирогова), не сознавая самих принципов, подчиняется влиянию личности, стремится к общественной пользе только потому, что исполняет желания попечителя, человека прославленного, знаменитого, всеми уважаемого...» И как только оказался, видите ли, человек, который не преклоняется безусловно пред «человеком прославленным» и пр., – эти господа сейчас же и переменили свои расположения и перестали «стремиться к общественной пользе». И все это – заметьте – от «раздражительных выходов» журнального крикуна, озорника, который и желал бы быть Калиновичем, да соответственного чина не имеет и потому принужден озорство свое ограничивать литературою... Что же теперь будет – спрашиваю я беспристрастных читателей, не исключая и киевлян, очень склон-

ных к искренним признаниям, – что же будет, если на них насядет, уже не в литературе, а в действительной жизни, какой-нибудь Калининич, если их *соблазнять* станет уже не журнальный, а какой-нибудь другой крикун? В какой мере и надолго ли удержится тогда благодетельное влияние благородной личности г. Пирогова? Что станется с самими педагогическими советами, если их будут составлять такие личности, которые, «не сознавая принципов, подчиняются личности» и стремятся к общественной пользе *только потому*, да, *только потому*, что этого желает начальство... И ведь таких *большинство*... Может быть, г. Е. Суд. судит слишком строго, скажете вы; но ведь его слова согласны, в сущности, с тем, что написано в «Отчете» самого г. Пирогова. А то вот еще отзыв г. Драгоманова, «недавнего гимназиста», как о нем было сказано в одной из прощальных речей. «Старое поколение (воспитателей), – говорит он, – действует по отсталым принципам, а молодое пока умеет только говорить о новых. Это, конечно, очень прискорбно, но тем не менее это факт, факт, факт... (Видите, как сильно!) Если

все предоставить нравственному влиянию, то необходимо положиться исключительно на педагогический смысл и любовь к делу воспитателей... Ну, а положитесь-ко на смысл и любовь к искусству наших воспитателей... Мы не можем удержаться от улыбки...» В начале письма г. Драгоманов в силлогизме (которого первая посылка, вследствие опечатки, потеряла, впрочем, всякий смысл) доказывает, что если бы г. Пирогов хотел заставить учителей действовать сообразно его началам, то «должен был бы выгнать почти всех учителей»... Таковы они были... Из этого г. Драгоманов, с свойственной ему последовательностью, выводит: «Что случилось бы с преобразованиями Пирогова, если бы он основывал их на личном, а не на коллегиальном начале?»... И разумеет, конечно, что тогда преобразованиям пришлось бы плохо. Но какую же прочность и достоинство имеет это коллегиальное начало между воспитателями, не имеющими ни педагогического смысла, ни любви к делу, или действующими по отсталым началам, или только умеющими говорить о новых, не сознающими здравых принципов и только из

угождения начальству делающими что-нибудь порядочное? Чем сделаются пресловутые «правила» и «таблицы» при отсутствии личного влияния г. Пирогова, при сохранении административного начала в воспитании, при неопределенности некоторых пунктов, при просторе, предоставленном воспитателям в определении проступков, при узаконении в «Правилах» «безумного и унижающего человеческого достоинство телесного наказания»? Смотря на «Правила» просто как на кодекс, совершенно независимо от личности г. Пирогова, наблюдавшего за их исполнением, – на них нельзя возлагать больших надежд: г. Пирогов сознается, что они «несовершенны»; я уже говорил и доказывал, что мне они кажутся очень и очень несовершенны. Г-н Пирогов, однако, доказывает фактами, что они принесли пользу; но из фактов этих не видно одного: действовали ли тут «Правила», или более – а может быть, *только* – и «желание угодить попечителю, человеку прославленному», и пр. ...Подождем, что будет без г. Пирогова, дождемся следующих двух-трех отчетов – тогда и окажется, до какой степени

полезны сами «Правила», без личного участия г. Пирогова в применении их...

Вот опасность, о которой я намекнул выше, что она грозит делу от системы, принятой г. Пироговым, то есть от системы уступок большинству, которое, по словам его же поклонников, ничего лучше не желало, как сделать удобное начальнику... Положение должно было представляться тем более комическим, что г. Пирогов не мог же предоставить большинству, или вообще коллегиям, всех прав и всех условий, необходимых для успешности их действий: административное начало, учебная формалистика, прежние уставы и законоположения – все это оставалось и связывало свободную деятельность коллегий, если бы они даже и оказались склонны к каким-нибудь свободным нововведениям... Я опять не осуждаю здесь г. Пирогова (считаю не лишнею эту оговорку); я верю, что в его положении он не мог сделать ничего лучше того, что сделал... Но я опять не верю и громадности тех последствий от «Правил» и коллегияльного начала, которые высчитаны в дюжине торжественных речей, сказанных г. Пи-

рогову. Если к отмене розги нельзя было вдруг привести педагогов и общество, то можно ли в два с половиною года (время попечительства г. Пирогова) привести их к отмене произвола и к строгому уважению законности?

«Вот мы и правы были, – кричат гг. Е. Суд. и М. Драгоманов, – вот г. – бов и сам договорился до теории либерального деспотизма, утверждая, что система уступок коллегиям со стороны г. Пирогова была нехороша и даже грозит какою-то опасностью делу...»

Нет, господа, вы все-таки неправы. Я уже сказал, что меня занимают не личные достоинства г. Пирогова, а самое дело. Г-н Пирогов действовал отлично, насколько мог; но дело от того мало подвинулось... Что оно мало подвинулось, это уж не от г. Пирогова зависело, а от того положения, в которое он был поставлен. Может быть, если б он действовал иначе, было бы хуже, может быть – вышло бы в конце концов то же самое; но, во всяком случае, погодите кричать о великих прогрессах, о неизмеримо благодетельных последствиях, о внезапном перерождении и пр. ...Этого, госпо-

да, не бывает... На торжественных проводах можно говорить что угодно, особенно если это приятно г. Пирогову: отчего же не воздать честь человеку? Но честь честью, а дело делом. А дело могло бы пойти успешно только тогда, когда бы – Пирогов ли или кто другой – направил все свои усилия на решительное и коренное изменение того положения, которое оказалось препятствием для г. Пирогова на пути более широких реформ. И в этом-то состоит наше требование от передовых общественных деятелей: в сравнении с ним все остальные требования – весьма почтенные сами по себе – кажутся нам слабы и мелки... Но мы сами ошибались, думая некогда, что такое требование выполнимо хоть до некоторой степени для единичной личности; теперь, на примере же г. Пирогова, мы убедились, что оно решительно невыполнимо даже для самых лучших личностей, если они действуют только сами собой... Нужно, чтоб общество, чтоб сама *среда* обратила внимание на свое положение и почувствовала необходимость изменить его. Среда же – это все мы: и г. Пирогов, и г. Е. Суд., и я, и г. Драгоманов –

все принадлежим к этой среде и все обязаны хлопотать, насколько есть сил и умения, о существенном изменении нашего положения, чтобы развязаны были нам руки на проведение наших задушевных убеждений. Вот смысл и цель – как предыдущей, так и настоящей моей статьи по поводу киевских «Правил».

Поймут ли меня г. Драгоманов и компания? Не очень надеюсь, но желал бы, чтоб поняли: в людях молодых и свежих все же больше силы, даже для того, чтоб, не стыдясь прежних увлечений, перейти к новым требованиям.

Но зачем же я сам составил такое жалкое изображение этой среды, к которой еще раз обращаюсь? Ведь если прежде сказали, что я написал статью для оскорбления г. Пирогова, так теперь решат, пожалуй, что я писал для оскорбления всех киевских педагогов, всего учебного округа... Пожалуй, что и решат. Но ведь это не мое изобретение – я сгруппировал лишь некоторые черты, сообщенные самими киевлянами... А зачем я группировал их?.. Да, положим, хоть затем, чтоб иметь удоволь-

ствие видеть потом ошибочность своих мрачных предположений... Может быть, назло этой статейке, киевляне действительно проникнутся *истинными* началами г. Пирогова, будут смело во имя их идти против всякого крикуна, разумно и гуманно разбирать проступки гимназистов и совсем выведут из употребления розгу. Когда наступит этот безмятежный вечер в киевской педагогике (что мы узнаем из будущих отчетов), тогда я с радостью похвалю утро, принесенное в Киев г. Пироговым.

# Примечания

## Условные сокращения

**Б**елинский – Белинский В. Г. Полное собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

*БдЧ* – «Библиотека для чтения».

**ГИХЛ** – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.

*ЖМНП* – «Журнал министерства народного просвещения».

Изд. 1862 г. – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.

**ЛН** – «Литературное наследство».

**Материалы** – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).

*МВед* – «Московские ведомости».

*ОЗ* – «Отечественные записки».

*РБ* – «Русская беседа».

*РВ* – «Русский вестник».

*РСл* – «Русское слово».

*СПб Вед* — «Санкт-Петербургские ведомости».

*Совр.* – «Современник».

Чернышевский – Чернышевский Н. Г.  
Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Впервые – *Совр.*, 1861, № 8, отд. II, с. 363–392, за подписью «Н. – бов». Вошла в изд. 1862 г. с восстановлением цензурных купюр.

Статья является ответом на нападки либеральной печати на Добролюбова по поводу статьи «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (см. наст. т.) и служит как бы ее продолжением. В статье «Всероссийские иллюзии...» Добролюбов подверг резкой критике составленные Н. И. Пироговым «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа» (1859), которыми знаменитый хирург, служивший в то время попечителем Киевского учебного округа, закрепил существовавшие школьные порядки, в том числе телесное наказание, против которого сам высказывался в печати. На этом примере критик продемонстрировал несостоятельность либеральных упований на «честных и просвещенных» чиновников, «хоро-

шую» администрацию, подводя читателей к мысли о необходимости независимой от правительства общественной деятельности, направленной на преобразование общества. В статье «От дождя да в воду», отводя обвинения в намерении «оскорбить» авторитетного общественного деятеля, Добролюбов подчеркнул эту мысль, почерпнув в выступлениях своих оппонентов, в частности, в ссылках на отсталую педагогическую среду, которой должен был уступить Пирогов, новые доказательства своей правоты. Вместе с тем Добролюбов показал, что попытки защитников Пирогова представить «уступку» Пирогова как его заслугу – в сущности, благовидная либеральная уловка, прикрывающая шаткость их собственной позиции по отношению к розгам и непонимание всего «морального безобразия» этого явления. Затрагивая вопрос об уступках, Добролюбов, несомненно, имел в виду не только данный случай, но и рассуждения о необходимости делать уступки крепостникам в крестьянском вопросе, постоянно раздававшиеся в либеральной прессе.

Статья исчерпала полемику вокруг пиро-

говских «Правил». Как свидетельствуют наброски в записной книжке Ф. М. Достоевского, в конце 1861 г. он готовил ответ на эту статью, но замысел остался неосуществленным. Крайне раздраженный статьями Добролюбова, писатель, однако, не мог найти иных аргументов против него, кроме многократно повторяемого: «Тон не такой должен быть с Пироговым» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 20. Л., 1980, с. 180). Спустя несколько месяцев в издаваемом Достоевским журнале «Время» была опубликована (без подписи) большая рецензия на «Собрание литературных статей» Н. И. Пирогова, автор которой, рассматривая проблему «уступок» преимущественно в нравственном аспекте, становился на сторону Добролюбова (Время, 1862, № 4; по предположению В. С. Нечаевой, автором этой рецензии был А. Б. Разин – см. в ее кн.: Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», 1861–1863. М., 1972, с. 141). Этот эпизод объясняет, почему ни один из крупных литературных противников «Современника» не выступил в данном случае против него (хотя, как утверждает Достоевский, «общее мнение» бы-

ло «за Пирогова» – там же, с. 161): принципиальной постановкой вопроса Добролюбов создал нравственную невозможность для таких выступлений. По воспоминаниям Н. Н. Златовратского, в ту пору учившегося в гимназии, молодой учитель сказал ему, узнав о смерти Добролюбова: «Помни, умер писатель... которому вы обязаны тем, что уже больше не могут вас ни сечь, ни мучить» (Добролюбов в воспоминаниях современников, с. 267).

# Сноски

## 1

Впрочем, как бы опасаясь не попасть в такую маленькую цель, некоторые господа придумали – к подписи моей статьи – бов прибавить еще три слога и таким образом обращались уже не к имени, которым подписана статья, а к господину Добролюбову. Так, например, сделал г. Драгоманов в 54 № «Русской речи». Г-н Драгоманов (как видно из брошюрки: «Прощание Киевского учебного округа с Н. И. Пироговым»){22} – студент одного из первых курсов университета, и потому для будущей его деятельности в литературе (к которой он, по-видимому, имеет склонность) не мешает ему узнать кое-что о литературных приличиях. Видите что. Мы все желаем, конечно, самой решительной и полной гласности во всех делах общественных, и жаловаться на нее в этих случаях я считаю недостойным человека, хоть сколько-нибудь уважающего себя. Но в отношениях частных, семейных и личных –

усердие к гласности должно, по-моему, быть сдерживаемо некоторым чувством деликатности. Если приверженцы г. Пирогова нашли в моих словах уголовное преступление, пусть начинают судебный иск – я не спрячусь за свою полуподпись, я явлюсь к суду и не буду противиться обнародованию процесса с моим полным именем. Если, по мнению господ, вооружающихся против меня, поступок мой не подходит под те, которые караются законом, но тем не менее остается возмутительным и невыносимым для них, – пусть требуют от меня каких угодно личных удовлетворений: я опять не откажусь объявить мое имя и адрес. Но покамест дело остается в пределах литературного спора, я не могу признать за моими возражателями право называть меня произвольными именами. Кроме того, что эта бретёрская привычка не хороша уже сама по себе, как свидетельство полицейского неуважения к инкогнито, – я нахожу в ней следующие два неудобства для моей личности. Во-первых, раз допустивши произвольную подстановку фамилия писателя, нельзя уже будет остановить порывов журнального остро-

умия... Вот, например, г. Драгоманов, припомнив, кажется, одну из комедий Фонвизина (Бригадир: *Добролюбов, любовник Софьи*), называет меня Добролюбовым, а какой-то другой господин (в «Сыне отечества», кажется, или, может быть, в «Иллюстрации»), вдохновляясь, очевидно, другою комедиею Фонвизина (Недоросль: *Скотинины все родом крепколобы*), – уверяя, что моя фамилия – *Крепколов*. Третий после этого скажет, что я – *Деризубов*, четвертый – *Подлолюбов* и т. д. Все это будет, конечно, нимало не остроумно, но то-то и дурно... Второе обстоятельство вот какое: пока вы говорите о – *бове*, вы говорите о его статье и о том, что можно заключить из статьи, – и только. Тут я вас не боюсь: вы можете меня не понять, исказить, оклеветать – вам же хуже. Публика имеет пред глазами мою статью, мы судимся открыто и гласно, наши шансы равны. Но когда вы вместо моей подписи называете полную фамилию (верно или неверно – все равно), публика видит, что у вас были какие-то частные сведения об авторе, кроме того, что известно всем из печати. И если вы, говоря о статье – *бова*, уверяете, что г. Добро-

любов – умный человек, но поборник либерального деспотизма, и затем даете видеть, что он легкомыслен и неблагонамерен, то ведь читатель-то вправе подумать, что вы всё это говорите – или по личному знакомству с г. Добролюбовым, или по достоверным частным сведениям. И вследствие того читатель может решить: «Конечно, из статьи – бова не видно того, что выводит об авторе г. Драгоманов, но, как видно, он имеет и другие данные для характеристики г. Добролюбова, – надо ему поверить...» И вам не совестно было бы, г. Драгоманов, подобным путем приобрести доверие читателя, когда вы и сами-то, вероятно, имеете обо мне разве лишь самые смутные сведения, перешедшие через бог знает сколько рук!.. Кстати, для предостережения публики от подобных вам господ, я замечу здесь (преодолевая неохоту говорить о себе), что, кроме трех или четырех литераторов, с которыми одними я по моим занятиям веду постоянные сношения, хоть мне и приходилось встречаться со множеством других, но разговоры наши обыкновенно ограничивались взаимными вежливостями, и в рассуж-

дения обо мне и моих литературных занятиях я никогда ни с кем из них не пускался. Из печатных же отзывов обо мне (в последнее время довольно частых) я вижу, что эти господа не имеют понятия не только о моем характере, но даже и об образе мыслей. Поэтому мне очень странно, что так бесцеремонно поступили со мною г. Драгоманов, о существовании которого узнал я из его статейки, и «Русская речь», ни одного из редакторов которой я и в глаза не видывал{23}.

[^^^]

## 2

Курсив у автора.

[^^^]

## 3

Для их блага (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

## 4

Это, впрочем, тоже кажется мне не вполне основательным. Г-н Пирогов с некоторым пренебрежением отзывается о моей заметке по этому поводу. «Некоторые рецензенты, – говорит он, – без дальнейшего размышления хотели заставить нас думать, что мы наказываем также розгою и оскорбления товарищей за веру, хотя в наших правилах нарочно прибавлено к этому проступку слово «фанатизм», в скобках. Мне кажется, что *ни один воспитатель* не вздумает искать фанатизма в глупых выходках учеников низших классов, *то есть*

детей 10–12 лет, против товарищей не одной с ними веры, а телесное наказание дозволяется только в этих классах. *Так можно исказить все, желая видеть одно худое и не понимая смысла или притворяясь, – что не понимаем*» («Воспитание», III, стр. 118). В самом деле – я был злонамерен и глуп... *Ни один воспитатель, благодаря бога, таков не будет...* А впрочем – посмотрите, что же это такое... Вот № IV того же «Воспитания»; тут напечатано окончание «Отчета» г. Пирогова; на стр. 213 г. Пирогов, сам же г. Пирогов, – пишет: «Недосмотр в редакции сделал то, что наказания, определенные правилами за оскорбление за веру – *не только были перетолкованы воспитателями, но вменены нам даже в преступление некоторыми журналами*». Значит – не я один подумал, что «Правила» велят сечь за фанатизм? И между воспитателями нашлись такие? Как же после этого г. Пирогову могло казаться, что «*ни один воспитатель*» и пр. (см. выше)?.. Правда, впрочем, что воспитатели, предполагавшие фанатизм в детях 10–12 лет, должны были быть уж очень плохи... Ведь в гимназиях Киевского округа в первых трех

классах бывают *только* дети от 10 до 12 лет... Однако – как же это... мы помним в «Правилах» общую оговорку, что розга назначается только до 16 лет, а ученики старше 16 лет, хотя бы и в низших классах, наказываются уже не розгою, а увольнением. Значит, в низших классах могут быть ученики и старше 16 лет? В них ведь уж и фанатизм может быть? Да, но это, верно, сказано только на всякий случай, в действительности же вовсе не бывает... Да, впрочем, вот, в том же III № «Воспитания», где так презрительно сказано о моем – либо тупоумии, либо неблагонамеренности, – тут же, на стр. 113, указаны самим г. Пироговым лета некоторых наказанных. Вот, например, один ученик подольской гимназии – 19 лет... Что же это?.. Он должен был находиться в 3 классе 15 лет?.. Нет, он, вероятно, перешел из 3 в 4–12, а потом в каждом классе сидел по два года... Вот другой – ученик 5 класса, 18 лет... Этот же как? Если он в 4 и 5 сидел по два года, а все-таки в 3-то был уже 14 лет... Ну, уж это я не знаю как... А вот еще – ученик немировской гимназии 1 класса, 13 лет... Значит, скольких же лет будет он в 3 классе – 12 или

15? Нет, едва ли не напрасно г. Пирогов так свысока отзывается о непонимании рецензентов... Просто признаться в просмотре – было бы, вероятно, благоразумнее, – а то ведь вот я и не утерпел, чтобы не вывести новых недосмотров – на этот раз уже прямо самого г. Пирогова. Оскорблять я никого не хочу, но не могу выносить, когда сваливают что-нибудь с больной головы на здоровую.

Кстати здесь замечу еще о стихотворении, в котором осмеивалось сечение за фанатизм {24}. Признаюсь, я принимаю на себя полнейшую за него ответственность, потому что предмет стоил такого осмеяния, и в этом случае малодушно было бы удерживаться даже уважением к такой личности, как г. Пирогов. А кто знает, может быть, эти стихи, вместе с моими нападками, и послужили еще к разъяснению дела для тех *воспитателей*, которые *перетолковали* положение «Правил». Г-н Драгоманов толкует, будто стихи заключают тот смысл, что «присуждение розог советом установлено Пироговым для большей торжественности церемонии, а не для ограничения произвола». Ну, так ведь вольно ему так тол-

КОВАТЬ...

[^^^]

## 5

Вообще моим обвинителям не мешает заметить, что замечания моей статьи не были серьезно опровергнуты никем, а подтверждений, напротив, получили довольно много. Крича против моей непрактичности и легкомыслия, они забывают это.

[^^^]

Непреодолимо (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

# Комментарии

## 1

Из басни И. И. Дмитриева «Чижик и зяблица» (1793).

[^^^]

## 2

В 1861 г. Н. И. Пирогов был вынужден оставить пост попечителя Киевского учебного округа из-за враждебного отношения к его деятельности со стороны местной киевской (генерал-губернатор князь Васильчиков) и петербургской администрации, в том числе самого царя.

[^^^]

### 3

Добролюбов с мая 1860 по июль 1861 г. находился за границей на лечении.

[^^^]

### 4

Добролюбов цитирует фельетон «Заметки праздношатающегося», который вел М. П. Розенгейм (ОЗ, 1861, № 4).

[^^^]

## 5

Цитируется заметка Е. В. Судовщикова «Пирогов и «Современник» (ОЗ, 1861, № 6).

[^^^]

## 6

Цитируется статья М. П. Драгоманова «По поводу заметки о Н. И. Пирогове в № 4 «Отечественных записок...» (Русская речь, 1861, № 54).

[^^^]

## 7

См. примеч. 13 к статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (наст. т., с. 679).

[^^^]

## 8

Речь идет о рецензии на «Собрание литературных статей» Пирогова и «Речи и отчет, читанные в торжественном собрании Московской практической академии...», в которой Добролюбов противопоставлял принципиальную и твердую позицию Пирогова в вопросах воспитания (в частности, безоговорочное отрицание им телесного наказания) поверхностному педагогическому «либерализму» «инспектора практической академии М. Я. Киттары (*Совр.*, 1859, № 2; см.: IV, 201–212).

[^^^]

Н. Л. *Миллер-Красовский* – педагог-рутинер, проповедовавший, в частности, «благотворное» воспитательное действие пощечины (см. примеч. 16 к статье «Всероссийские иллюзии...» – наст. т., с. 680).

[^^^]

*Щедринский озорник* – тип наглого и циничного барина-бюрократа, который разоблачается в одном из «Губернских очерков» («Озорники»), Оппоненты Добролюбова приводят высказывания героя этого очерка. *Калинович* – главный герой романа А. Ф. Писемского «Тысяча душ» (1858), просвещенный бюрократ.

[^^^]

## 11

«Отчет о следствиях введения по Киевскому учебному округу Правил о проступках и наказаниях учеников гимназий», написанный Н. И. Пироговым, был опубликован в журнале «Воспитание», 1861, № 2–4.

[^^^]

## 12

Имеется в виду статья А. Сухарева «Нечто о лавочках журнала «Современник» (Русская речь, 1861, № 54, 6 июля).

[^^^]

## 13

А. П. *Козлянинов* – помещик, избивший в вагоне железной дороги в 1860 г. свою соседку (см.: Мансуров А. Случай на Николаевской железной дороге. – *М Вед*, 1861, № 185, 24 августа). Возмущенные отклики в прессе заставили полицию возбудить против Козлянинова уголовное дело.

[^^^]

## 14

Л. Л. *Камбек* в начале 1860-х гг. пользовался известностью как журналист-обличитель. Выступал, главным образом, по частным вопросам: например, в заметке «Общественные кареты» (*Северная пчела*, № 107, 15 мая) он возмущался тем, что кондукторы не пускают мужиков в общественные кареты, разрешая им ехать только на внешнем сиденье, рядом с кучером, в чем Камбек убедился на собственном опыте, так как носил бороду.

[^^^]

## 15

Выражение *драконовские законы* обязано своим происхождением древнейшему своду афинских законов, составленному при архонте Драконте в VII в. до н. э. Не только преступления, но и многие проступки карались по этим законам смертной казнью.

[^^^]

## 16

*Кормление* – способ содержания должностных лиц местного управления в Древней Руси, отмененный в середине XVI в.: они не получали жалованья от правительства и имели право производить поборы с населения в свою пользу.

[^^^]

## 17

Добролюбов цитирует брошюру «Прощание Киевского учебного округа с Н. И. Пироговым», Киев, 1861.

[^^^]

## 18

Добролюбов перефразирует строку из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

[^^^]

Имеются в виду следующие выступления: статья С. Н. Цвета «Экономическая деятельность и законодательство» (*РВ*, 1860, август, кн. 1), представляющая собой поверхностный критический разбор статьи Чернышевского того же названия; «Письмо в редакцию» «Московских ведомостей» (1859, № 95, 23 апреля, подпись «Н. Ч.»), содержащее выпад против «Современника» в связи со статьей Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» и выступлениями «Свистка»; заметка Н. Н. Воскобойникова «Перестаньте бить и драться, гг. литераторы» (*СПб Вед*, 1860, № 261, 30 ноября), направленная против деятелей «Современника»; статья П. Д. Юркевича «Из науки о человеческом духе» (*РВ*, 1861, апрель, май), написанная в опровержение материалистических идей Чернышевского, изложенных в статье «Антропологический принцип философии». М. Н. Катков перепечатал статью Юркевича (в извлечениях) из «Трудов Киевской духовной академии».

[^^^]

## 20

Эта заметка была перепечатана в «Журнале для воспитания» (1860, № 7, отд. II, с. 16–17).

[^^^]

## 21

*Бедная Лиза* — героиня одноименной повести Н. М. Карамзина (1792).

[^^^]

## 22

Брошюра была издана в Киеве в 1861 г., а затем перепечатана во многих газетах и журналах.

[^^^]

## 23

Газету «Русская речь» (Москва, 1861–1862) издавала Е. В. Салиас де Турнемир, а редактировал Е. М. Феокистов.

[^^^]

Речь идет о стихотворении «Грустная дума гимназиста лютеранского исповедания и не Киевского округа», напечатанном в «Свистке», № 4 (*Совр.*, 1860, № 3).

[^^^]

[^^^]